



Евгений Карнович

Мальтийские рыцари в России

«Public Domain»

1880

Карнович Е. П.

Мальтийские рыцари в России / Е. П. Карнович — «Public Domain», 1880

Произведение рассказывает об эпохе Павла I. Читатель узнает, почему в нашей истории так упорно сохранялась легенда о недалеком, неумном, недальновидном царе и какой был на самом деле император Павел I.

Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЯ[1]	5
I	6
II	10
III	14
IV	17
V	21
VI	25
VII	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Евгений Петрович Карнович

Мальтийские рыцари в России

Историческая повесть из времен императора Павла I

ОТ ИЗДАТЕЛЯ¹

Время, к которому относится настоящий рассказ, принадлежит не только к замечательным, но и к своеобразным эпохам нашей истории. При революционных движениях, охвативших запад Европы, Россия тогда не только поддерживала там прежний политический порядок, но и являлась защитницей римско-католической церкви. Учреждения, ревностно служившие интересам этой церкви – орден иезуитский и орден Мальтийский, – не только нашли радушный прием в столице православного государства, но и начали влиять в значительной степени на внешнюю политику России, а вместе с тем отчасти и на внутренний наш порядок. В то же время иезуиты явились наставниками той среды русского юношества, перед которой преимущественно должно было открыться впоследствии обширное поле государственной деятельности. Такое странное положение дел установилось у нас не постепенно, но совершенно неожиданно вследствие личного образа действий императора Павла Петровича. При неумелости окружавших его лиц направлять государственные дела, при пылком его воображении, переменчивом характере и готовности к великодушно-политическим порывам главный представитель иезуитизма патер Грубер приобрел своею ловкостью и смелостью такое могущественное влияние, пред которым в изумлении отступили русские вельможи. Мальтийские рыцари и французские эмигранты явились также деятельными участниками в политических интересах России.

Автор этого рассказа, желая оставаться верным истории, попытался представить эту замечательную эпоху отчасти в повествовательной, отчасти в драматической форме и позволил себе вывести только несколько неисторических личностей, которые, так сказать, являясь как бы представителями того времени, высказывали бы господствовавшие тогда мнения в нашем обществе и толки, ходившие в народе. Для объяснения в некоторых случаях хода политических дел в рассказ введен автором и романтический элемент – любовь графа Литты к Скавронской, но и это обстоятельство совершенно верно. Изображая же таких главных действующих лиц, какими являются император Павел, аббат Грубер, митрополит Сестренцевич, графы Кутайсов, Пален и некоторые другие, г. Карнович строго держался исторических данных, не допуская при этом никаких собственных вымыслов и произвольных прикрас. Во внешней же обстановке выдержана всевозможная историческая точность, так что тот, кто прочитает сочинение г. Карновича «Мальтийские рыцари в России», ознакомится в главных чертах со всем, что заключается в исторических документах, современных этой эпохе, а также и в записках частных лиц, как из русских, так и из иностранцев, и познакомится со всем тем, что, по неотдаленности еще той поры от нынешнего времени, могло появиться в нашей печати.

¹ Предисловие к изданию 1904 г.

I

В просторной комнате, предназначенной, как можно было заключить по всей ее обстановке, для учебных занятий, сидел у стола, наклонившись над книгой, мальчик лет тринадцати-четырнадцати. Наружность его не отличалась не только красотой, но даже и миловидностью, и лишь откровенный взгляд его темно-серых глаз и добродушная улыбка, проявлявшаяся по временам на его губах, делали приятным его детское лицо и ослабляли то выражение надменности и задора, какое придавал его физиономии широкий и вздернутый кверху нос. На этом мальчике были надеты: суконный коричневый кафтанчик французского покроя с полированными стальными пуговицами; такого же цвета короткое исподнее платье, белый казимировый камзол и кожаные черные башмаки с высокими каблуками и большими стальными пряжками. Его светло-русые волосы, зачесанные вверх над лбом, были распущены по плечам. Чистота одежды, белизна камзола, свежесть плоеного коленкорового воротничка и таких же манжет, выпущенных из-под рукавов, показывали, что за этим мальчиком был тщательный домашний уход.

Облокотясь локтями на стол и подперев ладонями щеки, он внимательно, хотя и быстро, читал вполголоса лежавшую перед ним объемистую книгу. По временам лицо его заметно одушевлялось, глаза начинали блестеть, и он то задумывался над книгой, как будто припоминая и соображая что-то, то снова, с усиленным вниманием, принимался перечитывать только что прочитанное им. Видно было, что содержание этой книги чрезвычайно занимало его. Иногда он с нервной живостью делал на страницах ее отметки ногтем, а иногда, отрывая от лежавшего перед ним листа бумаги клочки, клал их как памятные знаки между страницами читаемой им книги. Заметно, впрочем, было, что не только книга сама по себе возбуждала его любопытство, но что вместе с тем внимание его привлекали к себе и находившиеся в ней превосходно гравированные портреты; на некоторые из них он засматривался подолгу.

Портреты эти изображали каких-то старцев и пожилых мужчин. Одни из изображенных на портретах особ были в рыцарских доспехах, другие в широких мантиях, третьи в одеждах, похожих по покрою на подрясники, с большими на них осьмиконечными крестами на груди. Оставляя на несколько минут чтение, мальчик торопливо перелистывал книгу, чтобы взглянуть поскорее на портреты, и тогда перед глазами его начинали мелькать то суровые, то добродушные, то воинственные, то надменные, то смиренные лица. Одни из изображенных на портретах витязей были с огромными старческими лысынами, другие с взъерошенными вверх, коротко стриженными волосами, третьи с длинными кудрями или с повисшими вниз длинными прядями волос. Были тут и бородатые, и безбородые. Короче сказать, коллекция портретов представляла чрезвычайное разнообразие как в отношении физиономий, так и в отношении одежд. Под портретами виднелись гербы, увенчанные коронами, шлемами и кардинальскими шапками, осененные херувимами и знаменами, украшенные военными трофеями и обвитые лавровыми и пальмовыми ветвями.

На заглавном листе этой книги значилось: *Histoire des Chevaliers Hospitaliers de St. Jean de Jerusalem, appellees depuis les Chevaliers de Rhodes et aujourd'hui les Chevaliers de Malte. Par. M-r l'Abbe Vertot d'Auboeuf de l'Academie des Belles-Lettres, MDCCXXXVI, т. е.* «История гостеприимных рыцарей святого Иоанна Иерусалимского, называвшихся потом родосскими, а ныне мальтийскими рыцарями. Сочинение г. аббата Верто д'Обефа, члена Академии изящной словесности».

Книга аббата Верто в течение долгого времени пользовалась среди образованной европейской публики большою известностью и замечательным успехом. Аббат, несмотря на преклонность своих лет, на носимое им духовное звание и на принадлежность к Мальтийскому ордену, отрешился в своем сочинении и от усвоенных исстари приемов при составлении книг

подобного рода. Он отверг все легендарные сказания, переходившие без всякой проверки через длинный ряд веков от одного поколения к другому и гласившие о непосредственном участии Господа и его святых угодников как в военных подвигах, так равно и в обиходных делах Мальтийского рыцарского ордена. Сомнительно отзывался аббат о чудесах, совершенных свыше во славу и на пользу этого духовно-воинственного учреждения, и прямо заявлял, что считает произведением праздной фантазии такие несбыточные рассказы, как, например, рассказ о том, что однажды трое благородных рыцарей, по усердным молитвам их, перенесены были какою-то невидимой силою в одну ночь из Египта на их отдаленную родину в Пикардию. За подобное слишком смелое отрицание чудес, проявлявшихся в былые века, среди боголюбивого и благочестивого рыцарства добросовестный Верто получил прозвание «аббата революций», а книга его, по распоряжению римской курии, подпала «sub index», т. е. была внесена в список книг нечестивых, крайне опасных для верующих, а потому подверглась строгому гонению со стороны римско-католических церковных властей. Между тем эти-то именно преследования и доставили книге аббата Верто громадную известность, а вместе с тем и множество самых усердных читателей.

Очистив историю рыцарства от легенд, не имевших очень даже простодушной прелести, навеваемой игрою слишком пылкого воображения, но прямо ударявших в глаза беззастенчивостью вымысла, аббат Верто тем не менее в несомненно достоверных сказаниях Мальтийского ордена нашел яркие краски для изображения действительной жизни этого древнего учреждения. Картинно и красноречиво, но вместе с тем и правдиво рассказал он в своей книге о судьбе рыцарей, подвизавшихся во имя Иоанна Крестителя с самых первых дней их появления в Иерусалиме, когда они, будучи еще монахами, променяли монастырь на странноприимный дом для безвозмездного служения там страждущим и недугующим богомольцами. На попечение их стали поступать бедные и больные пилигримы, приходившие издалека, со всех сторон, в Иерусалим на поклонение гробу Господню. Но подвиги смиренно монашествующей братии не ограничивались только сердоболием, и когда в обетованной земле после некоторого затишья наступила снова борьба христиан с неверными, то монахи-иоанниты стали братья за оружие и мужественно сражались с врагами Креста. Таким образом, они успели соединить милосердие с воинственностью, а их духовный и в то же время рыцарский орден вскоре снискал себе повсюду громкую известность и приобрел безграничное уважение со стороны всего западного христианства.

Число рыцарей иоаннитского ордена с каждым годом увеличивалось, и наличных его членов было уже достаточно не только для того, чтобы исполнять первоначальные обязанности по призрению странников, но и для того, чтобы выставить на боевое поле значительную вооруженную силу. Кроме того, уничтожение в 1312 г. королем французским Филиппом Красивым ордена тамплиеров, или храмовников, имевших также сперва местопребывание в Иерусалиме, а потом перебравшихся во Францию, возвысило иоаннитский орден, не встречавший уже себе соперника среди рыцарства. В число членов ордена св. Иоанна Иерусалимского начал поступать цвет европейского дворянства, и вскоре орден из первоначальной монашеской общины обратился в самостоятельное государство, успев завоевать для себя остров Родос. Он начал именовать себя «державным» орденом св. Иоанна Иерусалимского, и титул этот признали за ним все монархи. Он вступал в международные договоры со всеми государствами как равный с равными, вел от своего имени и своими вооруженными силами войны с врагами христианства и, устроив на Средиземном море значительный флот, направил свои усилия на истребление пиратов, имевших притоны на северных берегах Африки. Верховный представитель державного ордена св. Иоанна Иерусалимского, носивший звание гроссмейстера, или великого магистра, а также «стража Иерусалимского гостиного дома» и «блюстителя рати Христовой», был торжественно избираем на всю жизнь из среды знатных и доблестных рыцарей этого ордена. В своем высоком сане он признавался – как и природные монархи – государем, властвующим

«Божью милостию», и пользовался почти такой же обширной властью и таким же высоким почетом, какие в то время присвоены были не зависевшим ни от кого европейским государям. Великие магистры о принятии ими над орденом верховной власти извещали через нарочных послов европейских государей, которые при своем вступлении на престол в свою очередь оказывали им такое же внимание. Рыцари-иоанниты в отношении к великому магистру считались подданными; они приносили ему присягу в верности и послушании, а в церковной службе имя великого магистра провозглашалось как имя царствующего государя. Знаками его власти были: корона, «кинжал веры», или меч, и государственная печать с его изображением. В ознаменование же двойственного своего владычества – духовного и светского он имел титул «*Celsitudo eminentissima*», т. е. преимущественнейшего и преосвященнейшего высочества.

Мало-помалу прежняя община монахов-иоаннитов преобразовалась окончательно в военно-рыцарский орден, сохраняя, однако, в течение многих веков отпечаток своего первоначального монашеского происхождения. Члены ордена, как и вообще все монашествующие, приносили обет послушания, безбрачия и нищеты. Вступая в орден, они отрекались от своего имущества или в пользу своих наследников, или – обыкновенно бывало – в пользу орденской братии, и хотя впоследствии они могли приобретать имения, но не имели уже права располагать ими по духовному завещанию, и имения эти – после смерти их владельцев-рыцарей – делались достоянием ордена. Иоанниты на первых порах своего существования держали себя безупречно. Они жили не только скромно и просто, но даже и убого, употребляя все свое имущество на помощь страждущим ближним, на украшение храмов и на борьбу с врагами христианства. Но прежний суровый быт монахов-рыцарей начал постепенно изменяться: собранные орденом имущества и постоянно приливавшие в его казну богатства поколебали давние суровые добродетели, а великие магистры, считаясь владельческими особами и подражая им, стали жить с королевской пышностью. Тяжелые железные доспехи иоаннитов прежнего времени были заменены у изнежившихся их представителей XVIII века модными французскими кафтанами из бархата и шелка; на головах их вместо грузных стальных шлемов и черных клобуков появились щегольские береты с разноцветными перьями, модные парики с пудренными локонами и изящные треуголки с плюмажем, с золотыми галунами и бриллиантовыми аграфами, а грубые ремни, поддерживавшие рыцарскую броню, были заменены уборами из батиста и кружев. Обычный свой наряд – красные супервесты и черные мантии с нашитыми на них крестами из белого полотна – рыцари-иоанниты надевали только в торжественных случаях, т. е. так редко, что не узнавали друг друга, собираясь вместе, в этом заброшенном ими стародавнем наряде.

Орден все более и более отступал от своих древних учреждений, и в прошлом столетии с названием рыцаря иоаннитского, или Мальтийского, ордена неразрывно было связано понятие о дворянине хорошего старинного рода с порядочным наследственным состоянием. На иоаннитов стали смотреть как на людей светских, думавших о веселой жизни, а не как на монахов-рыцарей, посвятивших свою жизнь подвигам благотворения да трудным и опасным походам против морских разбойников и неверных. Несмотря, однако, на все это, орденский устав, хотя и не соблюдаемый строго даже в существенных его статьях, носил еще на себе отпечаток рыцарства былых времен.

К началу XVIII века рыцарство везде уже отжило свое время. Религиозные его основы не составляли никакой приманки для людей набожных, которые стали предпочитать монастырское спокойствие бурной рыцарской деятельности, а дворянство, жаждавшее боевой славы, начало искать ее не в рыцарских орденах, а под знаменами могущественных государей и под предводительством прославившихся полководцев. Тем не менее сказания о былой жизни рыцарей вообще и преимущественно столь знаменитых, какими считались рыцари Мальтийского ордена, покрывшие себя славой военных подвигов и на суше и на море, могли еще впечатлительно действовать на молодое слишком пылкое воображение. Рыцари этого ордена были оза-

рены блеском воинских доблестей и геройских деяний, совершенных их предшественниками; они жили на счет былой славы своего ордена, и надобно отдать справедливость ученому аббату Верго, что он как нельзя лучше воспользовался бывшими под руками материалами для того, чтобы написать самую увлекательную историю из времен исчезнувшего рыцарства.

Проходили обычным чередом год за годом после того, как белокурый мальчик с таким вниманием читал книгу аббата, но навеянные на него этим чтением впечатления и думы не изгладились из его памяти. Увлечение, так сильно его охватившее, не оставляло его окончательно и в ту пору, когда он сперва перешел в юношество, а потом и в возмужалые годы. Все, что касалось судьбы полюбившихся ему мальтийских рыцарей, постоянно занимало и живо затрагивало его, и, наконец, ему представилась возможность принять в ней самое деятельное участие после того, как в ночь на 7 ноября 1796 года в лице его явился Павел I, император и самодержец всероссийский.

II

Немного встречается в истории лиц, стоявших на недостижимой высоте над общим уровнем человечества, судьба которых была бы так печальна, как судьба императора Павла I: всю свою жизнь он, собственно, был страдальцем, мучеником своего высокого жребия. Едва стал он приходить в детское сознание, как все окружавшее начало раздражать и волновать его восприимчивую душу. Все способствовало к тому, чтобы из этой личности, не только мягкой и доброй, но даже и великодушной, вышел впоследствии человек, отличавшийся суровостью, изменчивостью и вдобавок чрезвычайными странностями и причудами, так что он в различное время был как будто совершенно разным человеком. Если, однако, вникнуть во все обстоятельства, сопровождавшие детство, юношеские годы и даже зрелый возраст великого князя Павла Петровича, то достаточно объяснится та загадочность характера, какую отличалась эта во многих отношениях далеко недюжинная личность.

Все лица, оставившие после себя записки или заметки об императоре Павле, единогласно свидетельствуют об его уме и благородных порывах. Ученый Лагарп – этот честный республиканец, на свидетельство которого можно положиться, между прочим писал: «Я с сожалением расстался с этим государем, который имел столь высокие достоинства. Кто бы мне сказал тогда, что он лишит меня моего скромного пенсионера и предоставит меня ужасам нужды? И тем не менее повторяю, что это человек, которого строго будет судить беспристрастное потомство, был великодушен и обладал источником всех добродетелей».

Императрица Елизавета Петровна была чрезвычайно обрадована рождением Павла, как наследника престола. Она устранила его мать от всякой о нем заботы и взяла его на непосредственное свое попечение. Сперва она нежила своего двоюродного внука, забавлялась и тешилась им по целым дням. Но даже под самым тщательным надзором императрицы, женщины, не имевшей никакого понятия о первых потребностях правильного воспитания, великий князь не мог находиться в тех условиях, которые благоприятно действовали бы на ребенка. Вскоре, однако, на долю его выпала еще худшая участь. При непостоянном своем характере императрица совершенно охладела ко взятому на ее попечение малютке и передала его в безотчетное заведование дворцовых приживалок. О том, как тогда было мало за ним даже такого ухода, какой имеется за детьми в обыкновенных семьях, можно заключить уже из того, что будущий наследник русского престола вывалился однажды из люльки и проспал на полу целую ночь, никем не замеченный. Нянчившие Павла Петровича женщины имели на него самое вредное воздействие. От этих приставниц привились к нему суеверие и предрассудки, а их вздорные рассказы дали ложное направление и умственному, и нравственному его развитию, и трудно было ему и впоследствии совершенно освободиться от всего, что было навеяно на него глупыми пестунами во время его детства. Их нелепые бредни расстраивали его необыкновенно пылкое воображение; от них научился он верить в сны, приметы и гаданья. Одиночество в потемках нагоняло на него даже и в зрелые годы ту бессознательную и неодолимую боязнь, какую испытывают дети, запуганные вымыслами о мертвецах, привидениях и домовых. Впрочем, не одни только фантастические страхи смущали его: при блеске молнии и ударах грома болезненный и слабый ребенок дрожал всем телом, а боязливое его настроение иногда доходило до того, что даже скрип внезапно отворенной двери или неожиданный стук или шорох приводили его в нервный трепет.

Пугая ребенка и мохнатым, разгуливающим по ночам чертом с хвостом, когтями и рогами, и Бабой Ягой с костяной ногой, и богоугодившим пророком Ильею, разъезжавшим летом по небесам в огненной колеснице, мамы и няньки добавляли к этим личностям, устрашавшим ребенка, и императрицу Елизавету Петровну. Они застрашивали ею малютку, словно каким-то пугалом, и Павел боялся приблизиться к ней; он не шел на ее зов и ревел благим

матом, когда его насильно подводили к бабушке, желавшей порою погладить его по головке. Вообще запугивание не одними мертвецами, но живыми людьми было в обычае воспитательниц Павла, и оно породило в нем ту одичалость и ту непривычку к незнакомым людям, которые он всегда преодолевал с большим усилием над собою, хотя от природы был скорее общителен, нежели нелюдим.

При императрице Елизавете Петровне, не обращавшей никакого внимания на образование своего двоюродного внука, обучение его началось довольно странным способом. Первым наставником его был Федор Дмитриевич Бехтеев, об учености и педагогической опытности которого говорить много не приходится. В ту пору грамота считалась делом куда как трудным и замысловатым, и потому радевшие о своих учениках наставники старались по возможности улаживать горький корень учения применительно к забавам детского возраста. В свою очередь Бехтеев надоумился учить Павла Петровича посредством деревянных и оловянных куколок, изображавших собою мушкетеров, гренадеров и разного рода представителей воинской силы и боевой славы. Все эти солдатики были помечены или буквами русской азбуки, или цифрами. Усевшись за учебный стол, Бехтеев приказывал своему ученику ставить солдатиков то попарно, то в шеренги, то повзводно, и при такой постановке сперва выучил он помеченные на куколках «аз», «буки», «веди» и т. д., а потом научился составлять из солдатиков склады, слоги, слова и целые речения. Точно так же применялось строевое расположение игрушечных солдатиков и к заучиванию «цифири», а затем и к первым правилам арифметики.

Вообще такое воспитание Павла Петровича продолжалось довольно долго. Обстановка его изменилась, однако, когда к нему был приставлен в качестве главного воспитателя граф Никита Иванович Панин, один из первых вельмож той поры, человек, пользовавшийся общео известностью за ум, образованность, честность и стойкость убеждений. Когда разнесся слух об этом назначении, мамки и няньки, окружавшие великого князя, начали ахать и охать и хныкать о своем «сердешном» и вместе с тем принялись страшать малютку Паниным. В застрашивании этом они до того успели, что при первом появлении своего нового воспитателя ребенок побледнел, затрясся, растерялся и бросился опрометью из комнаты. Немало стоило Панину приручить к себе маленького дикаря. Он начал с того, что немедленно прогнал из покоев наследника весь многочисленный состоявший при нем бабий штат, который до такой степени был неразлучен с великим князем, что даже постоянно обедал с ним за одним столом, причем приставницы, из нежности к ребенку, закармливали его чрез меру чем ни попало.

– Уморит он нашего голубчика! – заголосили сердобольные мамы и няни.

– И покушать-то не даст ему вволю, и «учебою» затомит его, сердешного, до смерти.

Новый воспитатель не обращал на эти сетования никакого внимания и с первого же раза, что называется, подтянул своего питомца. Теперь избалованный мальчик услышал строгий, решительный голос своего наставника. Панин не стеснялся с ним нисколько, ворчал, журил его и даже прикрикивал на него и отдавал ему приказания с тою резкостью, какая впоследствии слышалась в повелениях самого императора Павла. Тяготясь надзором Панина, великий князь тужил о той свободе и о том приволье, какими он пользовался прежде под охраною женщин, и со слезами на глазах вспоминал своих прежних снисходительных приставниц.

Вскоре, однако, он нашел снисходительность, доходившую до неуместной слабости, в помощнике Панина, молодом и хорошо образованном офицере, Семене Андреевиче Порошине. В системе воспитания великого князя произошли теперь многие изменения. Так, прежние фантастические застрашивания заменились совершенно иными, для осуществления которых воспитатели употребляли не совсем благовидные средства – подлоги и обман. Удерживая Павла от дурных наклонностей и поступков, они говорили ему, что вся Европа наблюдает за ним, что во всех государствах знают о каждом его поступке, недостойном его высокого сана, так как об этом немедленно будет напечатано в иностранных газетах. Чтобы уверить его в этом, по временам печаталось нарочно несколько экземпляров заграничных ведомостей, в которых

были помещены в виде сообщений из Петербурга сведения об образе жизни наследника, его занятиях науками, играх и шалостях. Эти подложные газеты давались ему для прочтения, и ребенок, обманываемый таким хитрым способом, к удовольствию своих приставников из чувства самолюбия старался вести себя, как следует благовоспитанному мальчику, на которого смотрит вся Европа. Выдумка эта имела, однако, и дурное последствие: когда со временем проделка открылась, то в уме Павла вкоренилась мысль о том, до какой степени даже самые честные, по-видимому, люди, окружающие высоких особ, бывают способны на хитрости и обманы, и, разумеется, такое убеждение могло влиять на развитие той подозрительности, какой отличался Павел и которая была так тяжела и для него самого и для его окружающих.

Умственное образование великого князя под надзором Панина шло успешно. Лучшие наставники, как русские, так и иностранные, приглашены были преподавать наследнику науки по обширной и разнообразной программе. Собственно, для него была составлена богатая библиотека, наполненная преимущественно роскошными иллюстрированными изданиями. В учебной его комнате находились: физический кабинет, а также коллекция монет и минералов. Не было забыто и развлечение физическим трудом, в его комнате был поставлен токарный станок со всеми принадлежностями этого ремесла. Верховая езда, фехтование и танцы были предметами тщательного обучения. Короче сказать, он имел все средства для того, чтобы получить превосходное по тогдашнему времени научное образование, и должно сказать, что заботы Екатерины по этой части не прошли бесследно. Павел Петрович отличался способностями и любознательностью, он превосходно говорил по-французски, легко объяснялся по-немецки, хорошо знал славянский язык, а латинский до такой степени, что читал в подлиннике Горация и мог вести на этом языке отрывочные разговоры. Обучение Павла Петровича не ограничивалось одним только чтением книг, но из них он делал выписки: привычку эту он сохранил и в зрелые годы, прибавляя к делаемым им выпискам свои собственные замечания и рассуждения. В числе самых любимых его книг была «История ордена святого Иоанна Иерусалимского», написанная аббатом Верто. Он прочел эту книгу несколько раз, и не подлежит сомнению, что под влиянием ее слагались в нем те рыцарские понятия и та прямота, которые так порывисто и так странно проявлялись у него даже среди самовластных его распоряжений.

Согласие между графом Паниным и его молодым помощником продолжалось недолго. Павел несколько не уважал мягкосердечного Порошина, забавлялся над ним, а между тем потворство воспитателя превосходило всякую меру. Вскоре Порошин под благовидным предлогом был удален от великого князя за слабость. Сохранилось, впрочем, известие, что истинной причиной его удаления была какая-то невежливость, оказанная им фрейлине, графине Анне Петровне Шереметевой, на которой думал жениться Панин. Устранение Порошина имело невыгодное влияние на нравственное развитие Павла, так как ворчливый Панин действовал на него только строгостью и заботился только об умственном его образовании.

Обстановка великого князя вне учебной комнаты не способствовала несколько тому, чтобы его характер мог принять хорошее и твердое направление. Первые свои впечатления он получил среди того ханжества, которым отличался двор императрицы Елизаветы Петровны в последние годы ее жизни, когда истинное религиозное чувство было заменено только обрядностью, да и вообще воспоминания Павла о первых годах его жизни не представляли ничего ни отрадного, ни поучительного. В кратковременное царствование Петра III он был совершенно забыт; доходивший потом до него гул государственного переворота, замысел Мировича, московский бунт впечатлительно действовали на его восприимчивую душу. Затем, в день празднования его совершеннолетия и его брака с великою княгиней Натальею Алексеевной в Петербурге было получено первое известие о появлении самозванца под именем Петра III.

Никита Иванович Панин, несмотря на многие прекрасные качества, делал при воспитании Павла множество ошибок. Страстный поклонник Фридриха Великого и приверженец всего прусского, он допускал, чтобы все немецкое хвалили перед наследником в ущерб русскому. Он

позволял лицам, окружавшим Павла, издеваться над Петром Великим и осмеивать простоту жизни этого государя. Павлу Петровичу рассказывали разные анекдоты, направленные к уничтожению русских. Так, ему передавали, что когда однажды Петр I прибил палкою какого-то заслуженного генерала, то последний принял посыпавшиеся на него удары с особым благоговением, сказав: «рука Господня прикоснулась меня!» Сам Панин рассказывал великому князю, как фельдмаршал Шереметев отдул за кражу батогами какого-то дворянина, который после этого с благодарностью повторял, что с него точно рукой сняло. При рассказах о таких расправах наследнику внушали, что «люди стали недотьки, что дворянина теперь нельзя избранить, а прежде дули палочьем и никто не смел сказать слова». Внушали ему, что нет честных людей, что все – воры, а граф Александр Сергеевич Строганов изошрял свое остроумие французского пошиба на то, чтобы выставить перед великим князем глупость русского народа. Между тем все разговоры, которые слушал Павел, не оставались без последствий: они входили в собственные его воззрения и суждения и вселяли в него недоверие к достоинствам и способностям его будущих подданных. В свою очередь, Панин любил «морализировать о непостоянстве и легкомыслии» и внушил Павлу, что «государю кураж надобен».

Независимо от этого все окружавшее Павла Петровича содействовало, с одной стороны, раздражению его пылкого воображения, а с другой – усилению тех недостатков, которые впоследствии сделались отличительными чертами его характера.

Наконец, особенности положения Павла Петровича как наследника престола по отношению как к матери, так и к близким ей лицам, вели к тому, что характер его сложился на совершенно своеобразный лад, а затем быстрый переход из угнетенного положения к неограниченному могуществу – когда каждое его слово делалось законом – произвел в нем переворот, который не мог не отразиться на его понятиях и на образе его действий.

III

Чем более мужал Павел Петрович, тем яснее сознавал он всю затруднительность и щекотливость своего высокого положения. Отчужденный от всякого участия в государственных делах, как внутренних, так и внешних, он был, при его кипучей природе, обречен на совершенную бездеятельность. Он и его супруга Мария Федоровна имели великолепные апартаменты в Зимнем дворце. Здесь происходили у них праздничные выходы и торжественные приемы по всем правилам, усвоенные этикетом версальского двора. Здесь они нередко давали пышные обеды, вечера и балы. Для летнего пребывания им был отдан дворец на Каменном острове. Но отношения между великим князем и его матерью становились все более и более натянутыми, и, когда императрица подарила ему Гатчину, он перебрался туда на постоянное жительство и только изредка, да и то неохотно, являлся в Петербург. В Гатчине он жил, окруженный небольшим числом приближенных лиц, и в то время, когда двор императрицы блистал великолепием и роскошью и беспрестанно оживлялся торжествами и празднествами, наследник престола не только жил уединенно в своем загородном имении, но и нуждался в денежных средствах.

Полюбив тихую Гатчину и желая обстроить ее, он произвел большие затраты. Когда же начал строить дворец в Павловске, то для покрытия требовавшихся при этом издержек вынужден был входить в долги, которые чрезвычайно озабочивали его. Кредиторы его, а также и разные подрядчики, подбиваемые недоброжелателями, подавали на него государыне жалобы за неплатеж долгов. По поводу этих жалоб ему приходилось выслушивать выговоры, упреки, внушения и наставления, так как императрица всегда с крайним неудовольствием платила его долги. Однажды Павел Петрович был до такой степени стеснен кредиторами, что, преодолев свое самолюбие, должен был обратиться с просьбой о выдаче ему денег к князю Потемкину, который, разумеется, с полною готовностью поспешил исполнить его просьбу, но эта-то притворная угодливость еще более раздражила Павла Петровича. Великий князь, щедрый по природе, не имел материальных средств, чтобы награждать заслуги и преданность окружавших его лиц, из которых почти никто не имел своего собственного состояния. Поэтому вместо подарков и наличных денег он выдавал им векселя. Когда сроки этим векселям наступали, то обыкновенно бывало так, что для уплаты по ним денег у Павла Петровича не было, и это ставило в самое неприятное положение как его самого, так и того, кому был выдан вексель. Конечно, люди, близко знавшие великого князя, могли и ценить его добрые порывы, и понимать ту неблагоприятную обстановку, в какой он находился, но большинство лиц, не знавших сути дела, приходило к заключениям, подрывавшим нравственный и денежный кредит великого князя. Выдавалось даже и такое время, что Павел Петрович не мог иметь хорошего стола. В такие тяжелые для него дни некто Петр Хрисанфович Обольянинов, служивший прежде в провиантском штате, а потом состоявший в гатчинской команде великого князя, приступал к занятиям по своей прежней части, продовольствуя великого князя кушаньями, приготовленными на его, Обольянинова, кухне, под надзором его жены, доброй женщины и заботливой хозяйки.

Если Павлу Петровичу нелегко было переносить разного рода материальные лишения, то еще тяжелее ему было переносить нравственные страдания. Обращение Павла Петровича вне службы с кем бы то ни было носило всегда на себе отпечаток той утонченной вежливости, какую вообще отличалось старинно-французское воспитание; все светские приличия были соблюдаемы им не только с образцовой строгостью, но и крайней щепетильностью. Ни взгляд, ни выражение лица, ни движение, ни голос Павла Петровича не выражали в этом случае никогда ничего неприятного или обидного для того, с кем он вел беседу. Замечательное остроумие его не было направлено при этом к тому, чтобы кольнуть или уязвить кого-нибудь, но, напротив, лишь к тому, чтобы высказать какую-нибудь неожиданную любезность или тонкую похвалу.

Павел Петрович нередко обижался распоряжениями императрицы. Когда он во время турецкой войны просил у нее позволения отправиться в армию Потемкина в скромном звании волонтера, то Екатерина не позволила ему этого под предлогом скорого разрешения от бремени его супруги и выражала опасение, что южный климат повредит его здоровью. Огорченный такими возражениями наследник престола не без раздражения спросил у матери:

– Что скажет Европа, видя мое бездействие в военное время?

– Она скажет, что ты послушный сын, – спокойно и равнодушно ответила императрица.

Павел Петрович понял, что после такого ответа все его домогательства и просьбы об отпуске в армию будут бесполезны, и молча покорился воле матери.

В начале шведской войны он опять просил у императрицы позволить ему отправиться в армию фельдмаршала графа Мусина-Пушкина. Императрица с неудовольствием выслушала заявление такого желания, но так как прежних благовидных поводов к отказу не было, то она поневоле должна была согласиться на просьбу сына.

Дорого, однако, поплатился великий князь за данное ему позволение участвовать в шведской войне. Надобно сказать, что еще и прежде приближенные к императрице лица, находившие или выгоду, или только удовольствие в несогласиях между матерью и сыном, внушали Екатерине, что чрезвычайно неудобно оставлять Павла Петровича владетельным герцогом Шлезвиг-Голштинским, так как в качестве самостоятельного государя он, достигнув зрелого возраста, может завести особые сношения с европейскими дворами. Под влиянием этих опасений Екатерина спешила покончить с королем датским дело об отречении великого князя от родовых его прав на герцогство Голштинское и Шлезвигское в пользу Дании. Такая же обидная подозрительность со стороны Екатерины к Павлу Петровичу выразилась и во время шведской войны. До сведения императрицы довели, что принц шведский, Карл, ищет случая лично познакомиться с Павлом Петровичем и старается сблизиться с ним. Этого было достаточно для возбуждения в государыне самых сильных, хотя и вовсе неосновательных, подозрений, и Павел Петрович, к крайнему его прискорбию, был немедленно отозван из армии, действовавшей против шведов.

Огорчения его не окончились только этим. После шведской войны императрица написала комедию, разыгранную в 1789 году в Эрмитаже. Комедия эта носила название «Горьбогатырь». В ней был выставлен неразумный сын-царевич, просящийся у матери-царицы на войну. Мать отпустила его неохотно, а он вместо того, чтобы удивлять всех своими храбрыми подвигами, только смешил неприятеля своим неуместным и забавным молодецеством. Богатырь этот прозывался Косометович, потому что отец его, любивший играть в свайку, косо метал ее, почему его и прозвали Косометом. Говорили, что цель этой комедии была осмеять забавную удачу шведского короля Густава III, затеявшего неудачную войну с Россией, но все частности этого насмешливого произведения, а между прочим намеки на царствующую мать и на неумелость отца-царевича, заставляли думать, что комедия эта была направлена не на Густава III, а на Павла Петровича, и он имел достаточно поводов принять на свой счет те насмешки, которыми изобиловало произведение его матери.

Вообще, если присмотреться к той обстановке, среди которой вынужден был жить великий князь, то окажется, что не было ничего удивительного, если он направил всю свою деятельность на строевое обучение сформированного для него из морских полков немногочисленного Гатчинского гарнизона. Только в отношении этого отряда войска он был полный хозяин, а имея в своем распоряжении солдат, бывших постоянно на мирном положении, он мог заниматься с ними лишь фронтальной их выправкой и установлением разных мелочных порядков по однообразной гарнизонной службе. В ту пору прусская армия во всей Европе считалась, как считается она и теперь, образцом совершенства. Хотя она одерживала блестящие победы собственно под предводительством короля Фридриха Великого, весьма мало заботившегося о воинской выправке и воинских артикулах, тем не менее общий голос военных специали-

стов того времени признавал, что гениальный полководец не имел бы никогда таких успехов на полях битвы, если бы не располагал армией, тщательно обученной его предшественником. Между тем предшественник его, Фридрих Вильгельм, был самый ревностный поборник солдатчины в тесном значении этого слова, и для него потсдамский плац-парад был единственным святилищем военной науки. Павел Петрович разделял тогдашний взгляд на великое значение фронтовой выучки, разводов, караульной службы, вахт-парадов, и т. д., и потому для своего гатчинского «модельного» войска он усвоил все порядки, существовавшие в прусской армии, и оказывал неусыпную, педантическую деятельность для водворения и развития их в гатчинской команде. Он часто ходил мимо казарм, и тогда все должны были выходить оттуда, и беда была тому, кто не исполнил этого приказа. Он с балкона дворца смотрел в подзорную трубу и присылал к караульному солдату через адъютанта приказание оставить ружье или поправить амуницию.

Принцесса Саксен-Кобургская, выдавшая свою дочь за великого князя Константина Павловича, заехала к своему будущему свату в Гатчину, и вот что она писала по поводу своего посещения этой резиденции наследнику русского престола: «Мы были очень любезно приняты в Гатчине, но здесь я очутилась в атмосфере, совсем не похожей на петербургскую. Вместо непринужденности, царствующей при дворе императрицы, здесь все связано, формально и безмолвно. Великий князь умен и, может быть, приятен, когда захочет, но у него много непонятных странностей, и между прочим то, что около него все устроено на старинный прусский лад. Как только въезжаешь в его владения, тотчас появляются трехцветные шлагбаумы с часовыми, которые окликают проезжающих на прусский манер, а русские, служащие при нем, кажутся пруссаками». Слобода в Гатчине, казармы, конюшни были перенесены в Россию из Пруссии.

Нельзя, однако, сказать, что мелочные занятия с гатчинским гарнизоном вполне удовлетворяли Павла Петровича. Одновременно с этими занятиями он обдумывал разные обширные планы и предложения, относившиеся к порядку государственного управления, подготавливая их втихомолку к тому времени, когда к нему, по воле Провидения, перейдет верховная власть. Кроме того, он много читал и делал по-прежнему обширные выписки из прочитываемых им книг. Будучи не только любителем, но и отличным знатоком современной французской литературы, он увлекался господствовавшими в ней тогда идеями об обновлении человечества в политическом и нравственном отношениях, и увлечение этими идеями рождало в нем сочувствие к тем явным и тайным обществам, которые хотели осуществить такую задачу. Вообще эта задача сильно занимала его, и он в 1782 году, будучи в Венеции, говорил однажды графине Розенберг: «Не знаю, буду ли я на престоле, но если судьба возведет меня на него, то не удивляйтесь тому, что я начну делать. Вы знаете мое сердце, но вы не знаете людей, а я знаю, как следует их вести». Получив впоследствии верховную власть, Павел Петрович задумал, между прочим, преобразовать к лучшему русское общество введением в него совершенно чуждых этому обществу рыцарских элементов; он надеялся, что таким способом ему удастся достигнуть его политических и социальных целей и со свойственной ему пылкостью начал прививать в России мальтийское рыцарство, полагая, что оно достигнет у нас обширного развития и благотворно повлияет на весь наш быт.

IV

Лет за семьдесят с чем-то до вступления на престол Павла I, как говорит предание, в достоверности которого нет повода сомневаться, какое-то не слишком чиновное лицо, состоявшее в царской службе, проезжало по Лифляндии на почтовых лошадях. При переезде с одной станции на другую проезжий этот остался недоволен медленной ездой и потому в дополнение к грозным словесным внушениям вздумал по существовавшему тогда обычаю расправиться собственноручно с везшим его ямщиком.

– Если бы ты знал, какая в Петербурге у меня родня, то не посмел бы меня тронуть, – проговорил по-латышски оскорбленный возница.

Расправлявшийся с ним проезжий потребовал от находившихся на станции лиц, чтобы ему было переведено по-русски выражение ямщика, показавшееся ему по смелому тону чрезвычайно дерзким. Требование проезжего было исполнено, и тогда он приступил к дальнейшим расспросам.

– Что же у тебя за важная такая родня в Питере, что и тронуть тебя нельзя? – издеваясь, спросил проезжий. – Небось брат или дядя капралом в гвардии служит?.. А?.. Так, что ли? – выкрикивал проезжий.

– Императрица – родная сестра моя, – гордо и самоуверенно проговорил обиженный, и слова его были переданы по-русски проезжему, который от изумления вытаращил глаза и разинул рот.

Хотя настоящее происхождение императрицы Екатерины I Алексеевны никому, даже и самому Петру Великому, не было в точности известно, но тем не менее проезжий господин был чрезвычайно озадачен такой неожиданной встречей.

– Вишь, что ты, мерзавец, выдумал! – гаркнул он. – Видно, с ума спятил!..

Обиженный, не смутившись нисколько, подтвердил свои слова.

– Постой, разбойник, я покажу тебе, какой ты братец государыне!.. Будешь ты меня помнить!.. – грозил он и, приказав связать самозваного родственника императрицы, представил его местному начальству для содержания под крепкой стражей.

Вследствие этого возникло по тайной канцелярии важное государственное дело, о котором тотчас же было доведено до сведения самого государя. Приказано было удостовериться, справедливы или ложны показания человека, назвавшегося родным братом Екатерины Алексеевны. После строгих допросов, продолжительных розысков и тщательных справок выяснилось, что ямщик Федор был действительно родной брат Марты, приемыша мариенбургского пастора Глюка, сделавшейся пленницей фельдмаршала Шереметева. Оказалось также, что у Федора – а следовательно, и у Екатерины – были еще: другой родной брат, по имени Карл, и две сестры; из них старшая была замужем за крестьянином Симоном Генрихом, а младшая, Анна, за Михелем Иоахимом, тоже крестьянином.

Петр Великий, чуждый всякой аристократической спеси, признал в этой убогой крестьянской семье родню императрицы и представил Екатерине ее братьев в той простой одежде, в которой они обыкновенно ходили. Неизвестно, думал ли Петр обрадовать Екатерину неожиданной находкой ее родственников, или же он хотел дать ей наглядный урок смирения. Как бы то ни было, но, по своим понятиям, он не находил нужным обогащать и возвышать Федора и Карла Самуиловых, ровно ни к чему не пригодных, потому только, что они были родные братья императрицы. Он оставил их на житье по-прежнему в деревне, приказав только, чтобы местная власть имела о них постоянное попечение, не давала никому в обиду и чтобы они соответственно потребностям скромного их быта не имели ни в чем нужды. Таким образом, в царствование Петра Великого братья Екатерины, довольные своей судьбой, оставались в совершенной безызвестности.

Вступив в 1725 году на императорский престол, Екатерина I вызвала к себе из деревенской глуши своих родственников, но они не тотчас показались в Петербурге, а жили около столицы на стрелъницкой мызе. Только 5 апреля 1727 года родные братья государыни, Карл и Федор, принявшие фамилию Скавронских, под которою в последнее время стала известна их сестра, были возведены в графское достоинство Российской империи и были наделены огромными богатствами. В герб новопожалованных графов были внесены три розы, напоминавшие о трех сестрах Скавронских, жаворонок – по-польски «skavronek», так как от этого слова произошла их фамилия, и друглавые русские орлы, не только свидетельствовавшие, по правилам геральдики, об особом благоволении государя к подданному, но и заявлявшие на этот раз о родстве Скавронских с императорским домом. Теперь перед бывшими крестьянами все стали принижаться; вельможи являлись к ним с поздравлением и заискивали их милостивого внимания, а представители знатнейших русских фамилий считали для себя не только за честь, но и за счастье породниться с «графами Скавронскими». Не одни, впрочем, русские добивались этой чести – руки бывшей крестьянки искал даже такой богатый и сильный польский магнат, каким был Петр Сапега.

При возвышении Карла и Федора Скавронских не были забыты и мужья сестер императрицы старшей – Симон Генрих, названный Симоном Леонтьевичем Гендриковым, и младший – Михель Иоахим, названный Михаилом Ефимовичем Ефимовским. В царствование Анны Иоанновны и в правление великой княгини Анны Леопольдовны вся родня Екатерины I была забыта, но она вновь поднялась при вступлении на престол императрицы Елизаветы Петровны, при которой в 1742 году Гендриковы и Ефимовские получили графское достоинство и обширные вотчины.

Случайный виновник возвышения Скавронских Федор умер бездетным, а у старшего его брата Карла остался сын, граф Мартын Карлович, родившийся в 1715 году, следовательно, еще в бедной и низкой доле и сделавшийся потом одним из важнейших русских вельмож, так как при императрице Елизавете Петровне он был генерал-аншефом, обер-гофмейстером и андреевским кавалером. Государыня особенно благоволила к нему: жаловала ему доходные вотчины и не раз давала в подарок огромные суммы денег. Кроме того, он женился на баронессе Марии Николаевне Строгановой, одной из богатейших невест в тогдашней России. Умер он в 1776 году, и все громадное его состояние досталось его единственному сыну графу Павлу Мартыновичу.

Молодой Скавронский был уже, по рождению, и богат и знатен. Пеленали его андреевскими лентами с плеча императрицы. Тщательно воспитывали, согласно требованиям того времени, под руководством иностранных наставников, и в блестящем этом юноше, пригодном по выдержке хотя бы и для версальского двора, никто не узнал бы родного внука латыша-крестьянина. Павел Мартынович не отличался, впрочем, особыми умственными дарованиями и имел одну сильную, ничем не удерживаемую страсть к вокальной инструментальной музыке. Он воображал себя необыкновенным певцом, отличным музыкантом и гениальным композитором. Страсть эта с годами развивалась все сильнее и сильнее и, наконец, перешла в забавное чудачество, чуть ли не в помешательство. Находя, что в России недостаточно ценят его музыкальные дарования, молодой Скавронский решил на долгое время покинуть неблагодарную родину, чтобы приобрести себе как певцу и музыканту громкую известность за границей. С этой целью он, оставшись двадцати двух лет от роду полным и безотчетным распорядителем отцовского богатства, пустился странствовать по Италии, классической стране гармонии и мелодии. В Италии жажда к славе по музыкальной части усилилась в нем еще более. Проводя время то в Милане, то во Флоренции, то в Венеции, он окружал себя там певцами, певцами и музыкантами, жившими на счет его необыкновенной к ним щедрости. Он беспрестанно сочинял музыкальные пьесы, не удовлетворявшие, однако, самому невзыскательному вкусу. Тратя большие деньги, он ставил на сценах главных итальянских городов оперы своей соб-

ственной композиции, оказавшиеся, впрочем, произведениями плохого качества. Несмотря на это, знаменитые певцы и примадонны очень охотно за большие, конечно, деньги и за дорогие подарки разучивали оперы Скавронского и распевали написанные им арии, от которых даже самые неприспособленные слушатели или хохотали во все горло, или затыкали себе уши. Нанятые прислужниками графа усердные хлопальщики заглушали своими аплодисментами и восторженными криками раздававшиеся в театрах свистки, шиканье и хохот при представлении его опер и во время его концертов. Лысцы и прихлебатели превозносили до небес необыкновенный композиторский талант Скавронского и тем самым еще более подзадоривали и подбивали богача меломана продолжать его аристократические сумасбродства. Лживые, щедро расточаемые ему похвалы он принимал как дань неподдельного восторга и удивления его композиторскому гению, а долетавшие до его слуха свистки, шиканье и насмешки, а также и попадавшие ему случайно на глаза беспощадные газетные отзывы на счет его музыкальных произведений он объяснял слепой завистью к его высокому таланту, в чем, разумеется, поддакивали ему и увивавшиеся около него лица.

Предаваясь все более и более музыкальным наслаждениям, Скавронский довел свою к ним страсть до того, что прислуга не смела разговаривать с ним иначе как речитативом. Выездной лакей-итальянец, приготовившись по нотам, написанным его господином, приятным сопрано докладывал графу, что карета его сиятельства готова. Метрдотель графа из французов торжественным напевом извещал как его самого, так и его гостей, что стол накрыт. Кучер, вывезенный из России, осведомлялся о приказах барина сильным певучим басом, оканчивая свои ответы густой протодьяконскою октавою. На торжественные случаи у графской прислуги имелись и арии, и хоры, так что бывавшие у чудака Скавронского обеды и ужины, казалось, происходили не в роскошном его палаццо, а на оперной сцене. Вдобавок ко всему этому и хозяин отдавал свои приказания прислуге в музыкальной форме, а гости, чтобы угодить ему, вели с ним разговор в виде вокальных импровизаций.

В числе лиц, неразлучно сопутствовавших молодому Скавронскому в его музыкально-артистических странствиях по Италии, был некто Дмитрий Александрович Гурьев, впоследствии министр финансов и граф, человек «одворянившегося при Петре Великом купецкого рода». Он был сметлив, расторопен и пронырлив и, на счастье свое, не был одарен ни малейшим музыкальным чувством. Он совершенно спокойно, без всякого раздражения, мог переносить и гром литавр, и звуки труб, и взвизги скрипок, и завывание виолончели, и свист флейт, и вой волторн, и рев контрабасов, хотя бы все это, по композиции Скавронского, в высшей степени раздирало уши. То приятно ослабляясь, то выражая на своем лице чувство радости, горя, восторга, безнадежности – смотря по тому, какое ощущение в человеке домогалась произвести музыка Скавронского, – Гурьев, как казалось, с напряженным вниманием выслушивал и длинные концертные пьесы, и бесконечные оперы неудавшегося маэстро. Зато как же и любил его Скавронский, не подозревавший в нем ни малейшего притворства и видевший только такого слушателя, который способен был понимать все красоты превосходной музыки! Привязанности и доверию графа к Гурьеву не было пределов, и подлащивавшийся к Скавронскому при помощи музыки его неразлучный спутник с выгодой для себя управлял всеми делами богача, не знавшего счета деньгам.

Пространствовав по Италии среди музыкальных походов около пяти лет, Скавронский на двадцать седьмом году возвратился в Петербург. До императрицы Екатерины доходили порой вести об его артистических и композиторских чудачествах за границей, но она не видела в них ничего предосудительного и даже отчасти была довольна тем, что Скавронский во время своего пребывания в чуждых краях не тратил денег, как это делали другие богатые русские бары того времени, на разврат, на картежную игру и на разные грубые проделки, дававшие не очень выгодное понятие иностранцам о нравственном и умственном развитии наших соотечественников. Императрица полагала, что шуточных намеков и легкой насмешки будет вполне

достаточно для того, чтобы отучить Скавронского от обуявшей его музыкально-артистической мании.

Когда в 1781 году Скавронский возвратился в Петербург, то богач меломан стал считаться там самым завидным женихом. Маменьки, бабушки и тетушки, наперерыв одна перед другой, старались выдать за него своих внучек, дочерей и племянниц, но он, влюбленный по-прежнему в музыку, не думал вовсе ни о какой невесте. Замыслил, однако, посватать его могущественный в ту пору князь Потемкин, и к услугам князя явился расторопный Дмитрий Александрович, искавший случая подслужиться временщику. Потемкин в это время выдавал старшую свою племянницу по сестре Александру Васильевну Энгельгардт за графа Ксаверия Броницкого, а другой, младшей его племяннице подыскал жениха Гурьев. Он ловко взялся за дело и вскоре устроил свадьбу этой молодой девушки со Скавронским, бывшим под его неотразимым влиянием. Скавронский вдруг изменил музыке и страстно влюбился в красавицу невесту. Он был до такой степени доволен этим браком, что за устройство его подарил своему свату «в знак памяти и дружбы» три тысячи душ крестьян.

Женившись на Екатерине Васильевне, Скавронский вдруг пристрастился к дипломатии. Служебная дорога была перед ним открыта, и он, пожалованный действительным камергером, был в 1785 году назначен русским посланником в Неаполь, куда и отправился на жительство со своей молоденькою женою.

V

Несмотря на затруднения разного рода, какие в конце прошедшего столетия представлялись при путешествиях по Европе вообще и по Италии – этой классической стране разбойников и бандитов – в особенности, туристы всех наций, а в числе их и русские, очень охотно посещали Италию. Следуя старинной поговорке «*veder Napoli e poi morire*», т. е. «взглянуть на Неаполь, а потом и умереть», так как ничего лучшего уже не увидишь, – они заезжали в этот греческо-итальянский город, чтобы полюбоваться его чудной приморской панорамой и грозным Везувием. Открытые около той поры развалины подземных городов Геркуланума и Помпеи, засыпанных лавою, влекли к Неаполю путешественников, напускавших на себя вид ученых и знатоков древности. Много уже перебывало в Неаполе русских бар-путешественников, но едва ли кто из них наделал там столько шуму и говору, как ожидавшийся туда русский посланник граф Скавронский. Молва об его богатстве, знатности и щедрости предшествовала ему. Издатели газет, вовсе не знавшие графа, выхваляли его необыкновенный ум, замечательную ученость и разнородные таланты, а местные поэты, не выдавшие еще его супруги, подготавливали в честь ее нежные сонеты, чувствительные мадригалы и торжественные оды, сравнивая ее по красоте и стройности стана с первенствовавшими богинями языческого мира.

Скавронский приехал в Неаполь, как обыкновенно езжали в ту пору за границу русские богачи, старавшиеся прежде всего поразить иностранцев роскошью и причудами. За дорожной его каретой следовал длинный поезд с прислугою, составленною как из крепостных русских, так и из вольнонаемных разных наций. За несколько дней до приезда в Неаполь русского посланника пришел туда отправленный из Петербурга обоз с различными принадлежностями домашней обстановки, которых нельзя было достать за границей. Самый лучший отель в городе был заранее нанят для посланника за огромные деньги, бессрочно, до того времени, пока он по приезде в Неаполь не выберет для постоянного своего житья какой-нибудь роскошный палаццо, отделает его еще лучше, чем он был прежде, и приспособит ко всем потребностям и удобствам. Все главные помещения отеля были уже приготовлены в ожидании прибытия знатного и богатого иностранца, и лишь в некоторые небольшие номера допускались постояльцы, да и то с условием очистить их немедленно по приезде русского графа, если он того потребует.

В числе лиц, проживавших в отеле на таких неприятных и неудобных условиях, была г-жа Лебрен, пользовавшаяся уже в Европе громкой известностью как знаменитая портретистка. Она расположилась в отеле в скромном помещении, со своими мольбертами, красками, палитрами и кистями и не совсем спокойно ожидала той минуты, когда ей придется оставить удобное для нее во всех отношениях помещение и сделать это единственно в угоду русскому синьору. Когда Скавронский приехал в нанятый для него отель, то ему или действительно показалось, или только из пустой прихоти он заявил, что приготовленного помещения недостаточно для его многочисленной свиты, и потому потребовал, чтобы из отеля выехали все постояльцы. Осведомившись же, что в числе их находится г-жа Лебрен, которую он знал еще по слуху, он отправил к ней мажордома графини с покорнейшею просьбою, чтобы г-жа Лебрен не только не выезжала из отеля, но сделала бы его супруге честь личным знакомством. При этом благовоспитанный Скавронский поручил мажордому извиниться перед г-жой Лебрен за графиню, которая, будучи нездорова и устав чрезвычайно от дороги, лишена была удовольствия сделать первый визит г-же Лебрен. После такого внимания и любезного приглашения, повторенного вслед за тем и самим графом, умная и образованная художница сделалась постоянной гостьей Скавронских и не могла нахвалиться их радушием и самым утонченным вниманием.

В записках своих, изданных под заглавием «*Souvenirs*», г-жа Лебрен оставила несколько заметок о супружеской чете, с которой она вскоре после первого визита свела самое близкое знакомство. На свидетельство г-жи Лебрен, отличавшейся таким художественным вкусом

и внимательно присматривавшейся к каждой черте и к каждому оттенку лица, положиться, конечно, можно, а между тем, по словам г-жи Лебрен, графиня Скавронская была «прекрасна, как ангел», и одарена была от природы «всеми прелестями чарующей красоты». Другая дама, баронесса Оберкирх, в своих «Записках» заметила: «Скавронская идеально хороша; ни одна женщина не может быть прекраснее ее», а граф Сегюр пишет, что головка Скавронской могла служить образцом для головки амура.

Говоря далее о Скавронской, г-жа Лебрен пишет, что она была чрезвычайно добра и снисходительна, но характер ее и образ ее жизни отличались замечательными странностями. Она никогда и никуда не выезжала без самой крайней необходимости, и ее не выманивали из палатки даже очаровательные прогулки на берегу моря при томном сиянии месяца. Она отличалась какою-то загадочною ленью, всякое движение, несмотря на ее молодость и легкость походки, было для нее обременительно. Самым большим для нее наслаждением было лежать на мягком канапе, закрывшись, несмотря ни на какую жару, богатой собольей шубкою. Когда около нее не было никого посторонних, в ногах у нее садилась привезенная в Неаполь из России старушка-няня и принималась рассказывать ей сказки, разумеется повторяя одно и то же по сотне раз. Молодая ленивица чувствовала отвращение к нарядам, и г-жа Лебрен, так много обращавшая на них внимание в качестве портретистки, не без удивления замечала, что Скавронская никогда не носила корсета. Между тем свекровь ее беспрестанно снабжала ее выписываемыми из Парижа дорогими и изящными изделиями, выходящими из мастерской мадемуазель Вертен, знаменитой модистки, одевавшей первую тогдашнюю щеголиху в Европе, королеву Марию Антуанетту. Несколько больших комнат в отеле, занятом Скавронскими, было загромождено тюками и ящиками с нарядами, привезенными из Парижа и отличавшимися тою утонченностью вкуса, какая тогда господствовала во Франции по части дамских мод. Но молоденькая женщина не только не выражала свойственной ее летам торопливости посмотреть поскорее на привезенные ей посылки, но даже вовсе не любопытствовала взглянуть на них, и потому заделанные тюки и ящики с нарядами оставались невскрытыми. Когда же камерфрау предлагала ей выбрать и надеть какую-нибудь щегольскую обновку, которая должна была так идти ей, то Скавронская как будто с удивлением спрашивала: «Зачем? Для кого?» Письма своей свекрови, внушавшей ей, что жене русского посланника при одном из самых блестящих дворов в Европе, и притом такой молодой и хорошенькой женщине, необходимо одеваться роскошно, по последней моде, она прочитывала с грустной усмешкою и вовсе не думала следовать советам и внушениям, даваемым ей со стороны этой великосветской барыни.

По всему было заметно, что красавица Скавронская как будто тяготилась окружавшею ее пышностью и своим видным положением в обществе. Постоянно задумчивая, она, казалось, предпочла бы жить нелюдимкой и даже затворницей. Ни на кого, ни на что она не обращала внимания. На нежности и ласки своего мужа, влюбленного в нее до безумия, она отвечала холодно и неохотно. Скавронский же по характеру и по образу жизни представлял совершенную противоположность жене. Он любил общество и был там приятным и веселым собеседником, там он искал для себя развлечения от своей семейной жизни, и так как он занимал в Неаполе высокий дипломатический пост, то и должен был жить открыто и роскошно, соответственно своему званию. Вследствие этого Скавронский часто давал в своем палатке и роскошные обеды, и великолепные балы, но эти последние чрезвычайно редко украшались присутствием прелестной хозяйки, которая не являлась на них под предлогом внезапной болезни. Для лиц, не знавших близко Скавронских, жизнь графини казалась странной, и отчуждение ее от света объяснили страшною ревностью ее мужа, который, следуя варварскому обычаю «москвитов», старался скрывать красавицу жену от посторонних взглядов. На деле, однако, было вовсе не то. Скавронский не только не препятствовал ей являться в свете, но, напротив, видя ее постоянно печальною и задумчивою, желал, чтобы она полюбила светские развлечения и блистала в обществе своею чарующею красотой.

Кроме великолепных нарядов, напрасно присылаемых Скавронской, у нее было множество драгоценных уборов. Однажды она вздумала показать их г-же Лебрен, которая, хотя и много уже насмотрелась на подобные вещи, но тем не менее была изумлена при виде сокровищ, принадлежавших добровольной отшельнице. Скавронская между прочим показала ей бриллианты необыкновенной величины и самой чистой воды, сказав, что они были подарком дяди ее, князя Потемкина. Никто, однако, не видал на ней этих драгоценных камней; она не выставяла их напоказ даже при происходивших при королевском дворе торжествах и празднествах, на которые являлась неохотно только вследствие просьбы и убеждений мужа.

Рождение графини Екатерины Васильевны Скавронской в небогатой и многочисленной семье смоленских помещиков немецкого происхождения, сперва ополячившихся, а потом обрусевших, вовсе не обещало ей блестящей будущности, и только необыкновенное возвышение ее родного дяди, Григория Александровича Потемкина, изменило предстоявшую ей скромную участь. Сделавшись могущественным вельможей и самым доверенным другом императрицы Потемкин не забыл своей родни и оказывал особенное расположение дочерям своей старшей сестры Марфы Александровны, бывшей замужем за подполковником Василием Александровичем Энгельгардтом. Дочери ее, простенькие барышни, были в 1776 году привезены прямо ко двору Екатерины. В это время Кате шел одиннадцатый год. Робко и недоверчиво смотрела деревенская дикарка на новую пышную обстановку и не скоро свыклась с тем положением, в каком так неожиданно очутилась. 10 июня 1781 года она была пожалована во фрейлины, а в ноябре того же года вышла замуж за Скавронского.

Брак ее был отпразднован торжественно. На свадьбу были приглашены только те дамы, которые были приглашены в Эрмитаж, то есть составляли самый близкий к императрице кружок. После свадьбы был блестящий бал в кавалергардской зале и ужин в присутствии императрицы. Жених приехал под венец в карете, стоившей 10 000 рублей, украшенной снаружи стразами. На другой день после свадьбы начались пиры в доме Потемкина, нынешнем Аничковском дворце. Много толков в петербургском обществе возбудил этот брак, и все они сводились к тому общему заключению, что молоденькая фрейлина вышла замуж поневоле, единственно в угоду своему дяде.

Года через три после своего замужества Скавронская вошла однажды в уборную Потемкина, жившего в Зимнем дворце под комнатами, занимаемыми государынею. В уборной на столе она увидела портрет императрицы, осыпанный бриллиантами. Портрет этот носил постоянно Потемкин в петлице своего кафтана. Взяв в руки портрет и стоя перед зеркалом, Скавронская машинально пришила его к корсажу своего платья.

– Иди, Катя, наверх к императрице и поблагодари ее! – вдруг крикнул лежавший на диване Потемкин.

Она с изумлением посмотрела на дядю и торопливо принялась отшпиливать портрет государыни.

– Нет, нет! Не снимай его, а так с ним и ступай! – громче прежнего крикнул Потемкин и, лениво приподнявшись с дивана, взял лежавшие перед ним карандаш и лоскуток бумаги, на котором написал несколько слов. – Ступай с этой записочкой к государыне и поблагодари ее за то, что она пожаловала тебя в статс-дамы.

Приказание это было высказано так настойчиво, что растерявшаяся Катя должна была повиноваться ему. С недовольным лицом, с нахмуренными бровями прочла государыня записку Потемкина, поданную ей смущенною Скавронскою. Несмотря на свое искусство притворяться и казаться любезною, Екатерина не могла на этот раз скрыть своего сильного неудовольствия. Преодолев, однако, его, она написала ответ Потемкину, уведомляя князя, что исполнила его желание, сделав его двадцатилетнюю племянницу статс-дамою.

В ту пору случаи пожалования этого высокого звания вообще были чрезвычайно редки, а для такой молоденькой женщины звание статс-дамы оказывалось и небывалым еще отличием.

Все заговорили об этом, завистливо посматривая на новую счастливицу. Начались толки и пересуды, и Скавронская, не терпевшая ни интриг, ни сплетен, была очень рада оставить двор императрицы, когда вскоре после этого муж ее получил место посланника в Неаполь.

VI

Горделиво смотрелся в тихие голубые воды залива стоявший на якоре в виду Неаполя военный корвет «Pellegrino». Поднятый на его корме красный, наподобие церковной хоругви, с белым крестом флаг показывал, что корвет этот принадлежал к составу военно-морских сил державного Мальтийского ордена. Окончив упорную борьбу с турками, длившуюся с лишком три столетия, мальтийские рыцари продолжали содержать в Средиземном море довольно значительный флот с целью уничтожения магометан-пиратов, гнездившихся в Алжире и Тунисе и разбойничавших как в этом море, так и в водах греческого архипелага. Ордену в ту пору не было уже надобности вести правильную морскую войну с турками, после истребления их флота при Чесме графом Алексеем Орловым, тем более что на северном побережье Черного моря стала возникать грозная для Турции сила со стороны России. Храня, однако, свои древние рыцарские обеты – бороться с врагами св. креста и защищать слабых, иоанниты снаряжали свои военные суда для крейсерства, чтобы освобождать из неволи христиан, захваченных в плен пиратами, охранять от нападений со стороны этих последних христианских торговцев и вообще держать в страхе суда, появлявшиеся в водах Средиземного моря с изображением полумесяца на флаге.

Давно уже была пора корвету «Pellegrino» поставить паруса и отправиться в плавание, но проходил день за днем, а командир корвета не думал вовсе готовиться к уходу с неаполитанского рейда. Экипаж корвета не мог надивиться такой странной медлительности своего начальника, который был известен как деятельный и отважный моряк, предпочитавший всегда зыбь моря неподвижности суши. Все замечали, что молодой командир вдруг изменился, что он стал теперь совсем не таким, каким был прежде. Бывало, он нетерпеливо ожидал той минуты, когда подует попутный ветер и быстро, на всех парусах, помчит в море его ходкое судно. Теперь уже несколько раз поднимался самый благоприятный ветер, а между тем командир корвета, скрестив на груди руки, стоял неподвижно на палубе и задумчиво смотрел в беспредельную даль моря, как будто не решаясь расстаться с приманившим его берегом. Напрасно шкипер заговаривал с ним об удобствах плавания при наступившей погоде и даже почтительно докладывал о необходимости прекратить поскорее такую продолжительную стоянку, напоминая, что корвет «Pellegrino» послан по повелению великого магистра не для того, чтобы стоять где-нибудь праздну на якоре, а для того, чтобы безостановочно крейсировать в открытом море. С рассеянным видом слушал командир и доклады, и рассуждения своего подчиненного, да и вообще не обращал никакого внимания на говор моряков-сослуживцев, роптавших на бездеятельность и на бесполезную трату времени. Не отвечая ни полслова на делаемые ему представления, он приказывал подавать себе шлюпку и съезжал на берег. Нашлись, однако, любопытные из числа лиц, составлявших экипаж корвета. Они постарались высмотреть, куда отправляется их начальник по приезде на берег. Оказалось, что каждый раз он не ходил никуда, кроме палаццо, в котором жил русский посланник, граф Скавронский. Заговорили об этом на корвете, но так как около той поры Россия старалась приобрести для своих военных кораблей постоянную стоянку на Средиземном море и так как петербургский кабинет вел перед этим переговоры с мадридским кабинетом об уступке с означенной целью России острова Минорки, то частые посещения русского посланника командиром мальтийского корвета объясняли или каким-либо участием в этих переговорах, или особым данным от великого магистра поручением относительно этого дела, и находили вероятным, что русские намерены выговорить право стоянки для своих военных судов в одной из гаваней острова Мальты.

Действительно, молодой командир корвета Джулио Литта во время своих ежедневных побывок в Неаполе не показывался нигде, кроме как у Скавронских, но он ходил туда не для каких-нибудь дипломатических переговоров, но совсем по другому делу. Красавица Скаврон-

ская влекла его к себе и заставляла моряка-рыцаря забывать любимую им стихию. Познакомившись со Скавронским как с официальным лицом и представленный его жене, Литта был очарован ее «ангельскою красотою». Под этим впечатлением он забыл о своих священных рыцарских обетах: о службе державному ордену, о крейсерстве для преследования пиратов; забыл и о корвете, бывшем под его начальством. Он не заботился и не думал теперь ни о чем, найдя в доме Скавронского такую пристань, которую ему никогда и ни за что не хотелось бы покинуть.

Граф Джулио Райнеро Литта, которому в это время было лет двадцать восемь, мог считаться красавцем в полном значении этого слова. Он был очень высокого роста, стройность стана соединялась у него с величавостью осанки. Деятельность моряка, приучившая его к трудам и опасностям, закалила его цветущее здоровье. Тонкие и правильные черты итальянского типа носили отпечаток мужества, большие черные то блестящие, то задумчивые глаза и приятная улыбка придавали этому молодому человеку чрезвычайную привлекательность, и, по всей вероятности, самый разборчивый художник не отказался бы взять его за образец красоты. Военный наряд мальтийского рыцаря, или кавалера, еще более оттенял его замечательную наружность. Литта носил красный кафтан французского покроя с белым мальтийским крестом на груди, повешенным на широкой черной ленте. Белое батистовое жабо с тонкими кружевами и легкая пудра на голове резко выделяли прекрасные черты его свежего загорелого лица. Литта чрезвычайно полюбился Скавронскому и после непродолжительного знакомства сделался постоянным гостем в его доме, а вместе с тем и самым приятным собеседником его жены, которая увидела в молодом командире такую привлекательную личность, какую ей не приводилось встречать прежде.

Беседы моряка с посланницею не отличались, впрочем, ни живостью, ни игривостью. Скавронская не имела той бойкости и находчивости, которые придавали особый оттенок разговору модных дам прошлого столетия, кокетничавших с мужчинами. Литта хотя и был человек умный и тонкий, но вел себя слишком сдержанно, не пускаясь в любезности. Молодой моряк рассказывал графине о далеких странствиях, и она любила подолгу слушать эти рассказы, и ни один самый чуткий и зоркий наблюдатель не уловил бы в их беседе намека на их сердечное, взаимное друг к другу влечение. Скавронская, освоившись мало-помалу с обычным посетителем, не стеснялась уже его присутствием в своей привычке – лежать на канапе, прикрывшись собольею шубкою. Часто, залюбовавшись ею, молча сидел около нее моряк-рыцарь, не спуская с нее глаз, а она ласково, без кокетства посматривала на него. Такая близость знакомства между Скавронской и Литтой согласовалась вполне с нравами тогдашнего высшего итальянского общества, среди которого каждая дама необходимо должна была иметь ухаживавшего за ней мужчину: так называвшегося «*cicisbeo*» или «*cavaliere servente*».

День за днем откладывал командир корвета свой уход из Неаполя, посылая на Мальту донесения, которые по их запутанности и неопределенности ставили тамошние власти в тупик относительно причин промедления корвета «*Pellegrino*» на неаполитанском рейде. Крепко не хотелось Литте отплыть оттуда. Наконец он увидел, что оставаться там более не было никакой возможности. Поэтому, отдав экипажу приказание приготовиться на завтра в плавание, он отправился провести последний вечер к обворожившей его красавице. Литта застал ее покоившеюся, по обыкновению, на канапе.

– Я пришел проститься с вами, синьора, – сказал он опечаленным голосом. – Завтра рано утром мой корвет уходит в море...

– Куда же вы направляетесь? – встрепенувшись, спросила Скавронская.

– К берегу Африки, я и то уже слишком долго зажился в Неаполе... Мне давно следовало бы уйти отсюда, – грустно проговорил моряк.

– И напрасно не сделали этого, если вам было нужно. Вы проскучали здесь, а между тем вами будут недовольны на Мальте, – наставительно сказала Скавронская, стараясь придать своему голосу выражение равнодушия.

Литта тяжело вздохнул.

– Отчего вы так вздыхаете? – скорее с добродушной насмешкой, нежели с участием, спросила молодая женщина. – Если вам было так хорошо здесь, то вы можете опять прийти сюда и даже поселиться здесь навсегда.

Литта не отвечал ничего и задумчиво смотрел на свою собеседницу.

– Скажите мне, отчего вы не женитесь?.. – торопливо спросила она Литту.

– Как рыцарь Мальтийского ордена, я дал обет безбрачия, – не без некоторой торжественности проговорил Литта.

– Значит, вы – монах?.. – весело рассмеявшись, перебила Скавронская.

– Почти что монах... – прошептал Литта.

– Отчего же вам вздумалось так стеснять свою жизнь, но и ваши сердечные чувства? Разве вы не можете полюбить какую-нибудь девушку и пожелать, чтобы она была вашей женой? В силах ли вы поручиться, что с вами никогда не случится этого?..

– Прежде чем я дал мой рыцарский обет, – заговорил Литта, – я долго думал и размышлял и решил вступить в орден только после того, когда убедился, что женщины...

– Что женщины?.. – с живостью возразила Скавронская, приподнимаясь на локоть, и при этом движении шубка, скользнув с ее плеча, упала на ковер. Литта бросился поднимать шубку, чтобы накинуть ее на синьору.

В это время в длинной анфиладе комнат слышались рулады, напеваемые слабым, прерывающимся голосом.

– Мой муж вернулся, – проговорила Скавронская, – он под впечатлением концерта напевает что-то, и, Боже мой, как он страшно фальшивит!.. К нему, должно быть, возвращается его прежняя страсть. Вероятно, он забыл кроткие внушения государыни, что музыка – не дело дипломата.

Скавронский, продолжая напевать, вошел к жене и, дружески поздоровавшись с Литтою, нежно поцеловал свою Катю. Она пристально взглянула на него, и каким-то жалким существом представился ей ее жалкий, хилый муж с бледным, исхудалым лицом; он показался ей мертвецом, ожидающим погребения. Она быстро вскинула свои глаза на гостя – перед ней стоял красавец в полном цвете молодых сил.

Литта сообщил Скавронскому, что завтра уходит с рейда в море, и посланник в самых любезных выражениях изъявил сожаление, что лишается такого приятного для него гостя, и затем с жаром дилетанта принялся рассказывать о концерте, происходившем в присутствии королевской фамилии, о расположении духа, в каком, по-видимому, находился король, о туалете королевы и о встрече с множеством своих знакомых. Рассеянно слушала Скавронская рассказы мужа, который, впрочем, обращался с ними преимущественно к гостю. Хотя и Литту не занимала несколько светская болтовня хозяина, но он делал вид, что слушает графа с особым вниманием. Наконец Скавронский утомился и призамолк, не находя поддержки своему разговору.

– А какие известия получены из Франции? – спросила его жена.

– Очень неутешительные, – заговорил посланник, – французы просто сходят с ума и хотят ниспровергнуть во всей Европе и религию, и престолы. Только общий союз всех государей может обуздать их. Надобно полагать, что революционное движение отзовется и в Италии... Положение дел ужасно...

– Какая печальная судьба предстоит нашему ордену! – сказал сильно взволнованный Литта. – Он как религиозное и аристократическое учреждение идет прямо в разрез тем понятиям, которые теперь так успешно распространяет французская революция. Мы слишком слабы, чтобы могли противостоять ее напору. Неужели не найдется в Европе ни одного могущественного государства, которое приняло бы нас под свою защиту?

– Когда над вами грянет гроза, обратитесь к России: она настолько сильна, что в состоянии будет защитить вас, – сказала Скавронская.

Литта с изумлением взглянул на нее.

– Обратиться к России?.. – спросил он. – Но разве вы, синьора, не знаете, что между ею и нашим орденом существует целая бездна, что бездна эта – различие религий. Россия – представительница восточной церкви, а мы, мальтийские рыцари, – поборники католицизма, со всеми его средневековыми преданиями. Притом всем очень хорошо известно, что императрица Екатерина – отъявленная почитательница французских энциклопедистов, которых следует считать главными виновниками всех нынешних смут и потрясений... .

– О, что касается этого, – заметил успокоительно посланник, – то образ мыслей государыни не может быть препятствием тому, чтобы Россия оказала помощь вашему ордену как религиозному и аристократическому учреждению. Со времени беспокойств во Франции императрица заметно изменила свои прежние взгляды, и из получаемых мною из России сведений видно, что там теперь началось сильное преследование всего, что хоть несколько отзывается революционным духом.

– Я сказала то, что мне вдруг, я сама не знаю почему, мелькнуло в голове, – засмеявшись и обращаясь к Литте, заговорила Скавронская, – я, впрочем, в политические вопросы вовсе не мешаюсь, это по части моего мужа... .

Разговор между хозяином и гостем перешел на эти дела. Оба они были того мнения, что происходящие во Франции беспорядки грозили бурей разразиться над всею Европою, если со стороны всех европейских кабинетов не будут приняты безотлагательно решительные меры для восстановления во Франции законного правительства. Хозяйка полудремя слушала эти, как казалось, скучные для нее разговоры. Наступило время проститься с нею Литте; он почти-точно поцеловал ее руку, а она совершенно равнодушно, как будто только из вежливости, пожелала ему благополучного плавания, не промолвив ни слова о возвращении его в Неаполь.

На другой день корвет нес Литту к берегам Африки, и он бесследно исчез на долгое время.

Между тем здоровье Скавронского расстраивалось все более и более: у него открылась чахотка, и 23 ноября 1793 года он умер в Неаполе. Его молоденькая вдова, пробыв после того еще некоторое время за границею, возвратилась в Петербург, где была встречена чрезвычайно ласково императрицею Екатериною.

VII

Вступив на престол, император Павел восстановил в так называвшихся тогда «присоединенных от Польши областях» существовавшие там прежде порядки по внутреннему управлению. В то же время в Петербурге обсуждались и некоторые финансовые вопросы, относившиеся к этому краю, и в числе их был вопрос об «острожской ординации», доходы с которой при волнениях, происходивших в Польше, давно уже не поступали в казну Мальтийского ордена. Император, сочувствовавший ордену, выразил желание порешить это дело в пользу ордена, и когда узнали об этом на Мальте, то для изъявления государю благодарности был отправлен с Мальты в Петербург балыи, граф Джулио Литта. Ему же предоставлено было от великого магистра право заключить с Россией конвенцию о восстановлении великого приорства в бывших польских областях и вместе с тем как делегату от ордена принять это приорство под свое ведение.

Посол великого магистра был встречен в Петербурге с большой торжественностью. До церемониального своего въезда граф Литта прожил в Гатчине, откуда и выехал парадно в столицу. Поезд его состоял из 36 обыкновенных и 4 придворных карет. В одной из них сидел балыи с сенатором князем Юсуповым и обер-церемониймейстером Валуевым.

Приехав в Петербург, Литта возобновил свое прежнее знакомство с графиней Скавронской. Он не видел ее четыре года, а в это время вдова-красавица похорошела еще более. Литта не нашел в ней никаких следов прежней лени и утомления. Из нелюдимки она сделалась обворожительной светской женщиною, для которой жизнь в шумном обществе казалась главной потребностью существования. Толпа вздыхавших поклонников окружала ее, и как ни силились злые языки оговорить молоденькую вдовушку, но не могли приискать никакого повода к сплетням и пересудам на ее счет. Она была безупречна, и о ней говорили только как о женщине, сердце которой не было доступно никакому нежному чувству.

Выйдя замуж за Скавронского на семнадцатом году от роду единственно в угоду своему дяде, князю Таврическому, и не чувствуя ни любви и даже ни малейшего расположения к своему жениху, Екатерина Васильевна безропотно покорилась своей участи. Невесело жилось ей с чудачком супругом, и ею постепенно овладело то равнодушие ко всему окружающему, которое обыкновенно является у женщины, недовольной замужеством и в то же время не имеющей настолько решимости, чтобы порвать или, по крайней мере, хоть несколько ослабить спутывающие ее супружеские узы. Уединенная и однообразная жизнь, чуждая всяких развлечений, казалась ей лучшим средством для того, чтобы избегнуть всяких искушений, тревог и волнений. Познакомившись в Неаполе с графом Литтой, она не могла не видеть той резкой разницы, какая была между ее мужем и молодым мальтийским рыцарем не в пользу первого, но она сдерживала свои сердечные порывы, и Литта не догадывался, что он был предметом любви молодой русской синьоры. Оставшись после мужа на свободе, Скавронская почувствовала полную самостоятельность, и прежняя затворническая жизнь показалась ей невыносимо скучною. Развлечения и удовольствия, приемы гостей, выезды на балы и к знакомым сделались для нее теперь необходимостью. Она как будто переродилась, и по приезде в Петербург Литта нашел ее совсем уже не той, какую знал ее в Неаполе.

– Вы, граф, так и остались монахом? – спросила Скавронская Литту при первой с ним встрече, когда он приехал к ней с визитом. Несмотря на сдержанность вдовушки, было, однако, заметно, что она очень обрадовалась неожиданному свиданию с прежним знакомцем.

– Вы не ошибаетесь, – отвечал балыи. – Но вы, графиня, кажется, – уже не та затворница, какую были прежде?

– Да, я изменилась и нахожу, что очень хорошо сделала. Прежде я умирала от тоски, а теперь убедилась, что жизнь не так печальна, как она представлялась мне в былое время... А

вы приехали к нам в Петербург надолго? – спросила она, не без волнения ожидая ответа на этот вопрос.

– Срок моего пребывания в Петербурге будет зависеть от хода дела или, вернее сказать, от воли императора... Вы были, графиня, настоящей пророчицею: помните, как в последнее наше свидание вы вдруг высказали мысль, чтобы наш орден обратился к покровительству России. Признаюсь, я с изумлением услышал такое предложение: оно тогда казалось мне несбыточным, невероятным, а между тем обстоятельства сложились так, что сам же я в орденском капитуле указал на Россию как на единственную нашу заступницу. Извините, что я у вас похитил эту мысль. Недаром же у всех народов женщины считаются одаренными духом прорицания. Если наш славный рыцарский орден получит от России поддержку, – которая, несомненно, предотвратит удары, грозящие ему со стороны Франции, – то этим он будет обязан собственно вам. Не напрасно, значит, рыцарство питало безграничное уважение к женщинам: теперь одной из них, быть может, придется спасти от гибели самый знаменитый рыцарский орден, – с воодушевлением проговорил Литта.

– Вы все такой же горячий приверженец вашего ордена, как были и прежде! Надобно полагать, что любовь не затронула еще вашего сердца и что данный вами обет безбрачия нисколько не тяготит вас... А знаете, граф, что я всякий раз смеюсь от души, когда вспомню об этом странном обете... Какой же вы – монах?.. – и она засмеялась веселым и звонким смехом.

– Я слишком свято чту мои рыцарские обеты, чтобы когда-нибудь мог отречься от них. Я убежден, что никакие блага мира не заставят меня сойти с пути, по которому я пошел с твердою верою в помощь Бога и в покровительство его великого угодника святого Иоанна Крестителя, – проговорил с суровым благоговением Литта.

– Вас, я полагаю, никто и не думает совращать с избранного вами пути... Идите, идите по нем! – спокойно-шутливо перебила Скавронская.

– Всю мою жизнь, все мои силы, все мои труды я отдавал и буду отдавать на пользу нашего рыцарского братства... Я был бы изменником, я был бы не достоин моего сана, если бы хоть сколько-нибудь поколебался исполнить мою священную обязанность.

Литта произносил эти слова с постепенно усиливающимся жаром, между тем как молодая женщина закусывала розовые губки, стараясь удержаться от смеха.

– Вы сказали, что женщины одарены духом пророчества, так я же напророчу вам: вы когда-нибудь влюбитесь и женитесь...

– Этого никогда не может быть! – твердым голосом возразил Литта. – Святость моих рыцарских обетов не допустит меня до этого. Я никогда не забуду присяги, которую я принес во имя всемогущего Бога!.. Притом я уже прожил годы кипучей юности, выдержал немало искушений и еще более убедился, что женщины...

– Ах, кстати. Помните ли вы, как в последний вечер, проведенный вами со мною в Неаполе, вы начали говорить об этом предмете... – перебила его Скавронская, смотря пытливо на своего собеседника.

– Я был бы самым неблагодарным человеком в мире, если бы забыл хоть одну минуту, которую провел с вами, – сказал Литта, и в голосе его зазвучала та притворная сентиментальность, какою отличались любезники прошлого века.

– Стыдно, стыдно монаху говорить такие нежности! – заметила с веселою строгостью Скавронская, наставительно покачивая своею напудренною головкою. – Доскажите теперь просто, что вы тогда хотели сказать.

– Я хотел сказать, – заминаясь начал Литта, – что женщины любят властвовать над мужчинами и что я никогда не хотел бы быть рабом одной из них.

– Вот как!.. По-вашему, значит, нужно, чтобы вы, мужчины, властвовали над нами? Нет, господа, прошли те счастливые для вас времена, когда вы могли считать себя нашими владыками...

– Я не желаю властвовать над женщиною, а потому предпочел не ставить ее в зависимость от меня, да и самому не быть в зависимости от нее. . .

– Это очень похвально, но извините меня за мою откровенность, если я скажу вам, синьор Джулио, что вы неискренни. . .

Хотя слова эти были сказаны с чрезвычайною мягкостью, но балъи заметно смутился.

– Как рыцарь, – продолжала Скавронская, – вы, без сомнения, и прямодушны, и откровенны; как монах, вы, конечно, смиренны, а пожалуй, даже и лицемерны; а как дипломат, приехавший с затаенными целями, вы, наверное, скрытны и коварны. Вы представляете из себя такого ненавистника женщин, а между тем. . .

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.